

Александр РАТКЕВИЧ

МАРТОСЛОВ

Вторая книга стихотворений
(1993)

«Книга «Мартослов» подготовлена из стихов, написанных в разные годы и поэтому с разным чувством и, тем более, с разным умонастроением, но, думается, вешние волнения и предчувствия сливаются в определённое единство эти стихотворения, о чём также говорит и само название книги».

© А.М.Раткевич

ЗНАКИ

Есть тайна – белый лист бумаги,
не тронутый взволнованным пером...
Давно умчал от берега паром,
паромщик делает мне знаки.

Я знаки эти что-то не пойму.
Чего уж там – упущенному слава.
«Эй, на пароме!..» – Не услышат, право;
да и не нужен там я никому.

Попутный ветер мне не господин.
Им весело на палубе безбрежной.
Волна о берег плещется небрежно,
и я на берегу стою один.

Я знаки в памяти не сберегу.
Всё хорошо – мне подождать придётся.
Паром назад когда-нибудь вернётся,
но на него попасть я не смогу.

Дни коротки, а год ещё короче,
поэтому и знаков образ мглист...
Но тайна есть – бумаги белый лист,
к перу и почерку охочий.

1988

ЗАЧИН

Играй, баянист, хоть твой голос неровен.
В моей Белоруссии хаты гниют,
и в дремлющей плоти рыхлеющих брёвен
мелодий заброшенных вопли снуют.

Дороги заплаканы до умиления.
Вчера – не вчера я здесь, кажется, плыл,
сегодня одно хоровое моление
исчезнувших душ, о которых забыл.

Но ты не забудешь, меха раздувая,

огонь-баянист, о спасенье молить
избы, что во времени словно живая,
в пространстве... – да что тут уже говорить.

Баяна лихого заманчивы речи,
но им не дано в занавески вдохнуть
сияние утра, которое резче,
чем думалось мне, оттенило мой путь.

Стареющих окон глазницы стеклянны.
И страшно войти, и досадно смотреть.
Сквозь приторный запах корней валерьяны
сердечную изморозь не одолеть.

Но ты, дорогой баянист, ни в остуде,
ни в подлой измене не ведай кручин.
В моей Белоруссии хаты, как люди,
а люди – нечаянной песни зачин.

1989

ЖЕРЕБЁНОК

Вечерний час, тела коней
сливаются с желтеющим закатом,
последней тучей горизонт залатан,
и небосвод от этого синей.

Сомненью срок – так пусть он будет краток.
За жеребёнком карим – хлесь да хлесь;
возвышенна его лихая спесь
и бег обворожителен и сладок.

Сникает свет, храп конский слышен близко,
из-под копыт – осколки первых звёзд;
и чудо-ночь, простёршись в полный рост,
вскрывает вены солнечного диска.

За мглою мгла, и выстлан холм небесный
атласа чёрно-алого ковром,
но не обуздан карий, как фантом,
над временною властвующий бездной.

Всё ближе, ярче лунное дрожанье,
что холодит уставшие глаза,
и серебрит упавшая слеза
вдруг лошадино-искристое ржанье.

Взгляд жеребёнка – ночи рдяной всход.
В любви сомненье – временная ноша.
Я возвращаюсь; звёзды, как пороша,
заполонили небосвод.

1988

* * *

На губной гармошке месяца
я сыграю, чтоб для вас
неба музыка-кудесница
засверкала, как алмаз.

Бубенцовой звёздной нежностью
всколыхну ночную гладь,
чтобы с тайной неизбежностью
в душах ваших зазвучать.

Одиноких туч мелодию
сквозь небесную парчу
в скрипки пламень превращу,
и волшебную рапсодию
перед вами расплещу.

Колокольный звон созвездия,
не убитый темнотой,
как палящая поэзия,
вас насытит теплотой.

Струи розового всполоха,
словно стройный звукоряд,
над дремой земного шороха
вам гитарой зазвелят.

А заря, сестрица младшая
рос, пророчащих восход,
флейтой утра запоёт,
и ночная тьма увядшая
лепестками опадёт.

КОЛОДЕЦ

Это поле у деревни
мне мерещилось всегда:
там стоит колодец древний,
в нём зелёная вода.

И не брёвен сизых гнилость
мне внушала страха скось,
а воды невозмутимость
извела меня насквозь.

Что в её застывшем слитье
заколдовано тоской:
битв кровавых чаепитье,
плуга лязг иль пот людской?

Или в ней сиянье неба,

словно в выгибе стекла,
отражается нелепо
и бесцветно, как зола?

Или всё на белом свете,
в чём угасли злость и спесь,
как в евангельском завете,
воедино слито здесь?

Нет ответа; я не воин;
сквозь прохлады череду
у колодца мнусь расстроен
и безволен, как в бреду.

Я бреду своей орбитой,
в мысль одевшись, как в пальто:
что забыто, то забыто,
но колодец – это что?

СОНЕТ

Полон вселенский зал
таинств немым узором,
звёзд рыдающим хором
и остротою жал
быстрых огней, как шквал
властвующих простором,
и бессонным напором
метеоритов-скал.

Здесь же, топча ногами
землю, листву и кровь,
дрогнувшими руками,
дремлющими глазами
пробую я ночами
объять необъятное вновь.

1977

* * *

Что мне, каждый день одно:
пусть друзья милы,
только это всё равно
канет в омут мглы.

Канет лунный свет костра,
что, казалось, вечен,
в поглощающем вчера,
так и незамечен.

Да и добрые слова,
будто влага в хлебе,

разгораясь, как дрова,
испарятся в небе.

В полночь полон неба полог
звёздной суматохой.
Кто я? Маленький осколок
внеземного вздоха?

Я – не я. И не пойму –
что за проволочка? –
разве телу моему
тоже будет точка?
1987

* * *

Растаял день. Всевластность щедрой ночи
дарует звёздность людям и земле.
И я необъяснимо-одиначий
иду во мгле.

И слышу вдруг в светящемся затишье,
о чём трава беседует в ночи,
как шелестят, проказя по-мальчишки,
лилово-лунные лучи.

И ветер над водою затихает,
и пруд, что за день солнцем опалён,
прохладу ночи глубоко вдыхает
сквозь чуткий сон.

И каждый куст посеребрён полночно:
сквозь струны неподвижные ветвей
сияют звёзды чисто и молочно,
целители души моей.

И светел путь в ночи неизъяснимой.
Поля молчат, как фрески, в тишине.
И нет дорожке звёздности ранимой
сегодня мне.

ТРОИЦА

Снег чувствителен и женствен,
в пелене ночных огней
необузданно-божествен
триединый бег коней.

Вера, что ли, в них клокочет?
Блещет избранная статья?
Или это время хочет
тайну бега обуздать?

Или в храме их сгорает
по бессмертию тоска?
Иль за звёздность звон карает
бубенцами у виска?

Не развеять, не умерить
своеволие трёх богов –
в них возможно только верить
без границ и берегов.

В мутно-лунных переливах
бел завьюженный простор,
серебрится в коньих гривах
снежно-вспененный костёр.

И сияет подвенечно
сквозь вселенское кольцо
триединое навечно
Родины лицо.

1987

МУЗЕ

Тебя не ждал, но ты пришла, маня
судьбой весёлой и печальной,
и в трудный путь отправила меня
тропой поэзии венчальной.

Я не противился, не потому,
что захотелось славы сладкой, –
была желанна сердцу моему
твоя нежданность и загадка.

Но не хочу, чтоб оставалась ты
моей звездой в кругу сиянья,
чтоб мы, как параллельных две черты,
вовек не ведали слиянья.

Хочу жену в тебе предошущать;
и в ссоре или в поцелуе
тобою любоваться и прощать
поступки, сделанные всуе.

И, может быть, когда ночная тьма
усилит боли и тревоги,
срастись с тобою, как срастаются дома,
деревья, реки и дороги.

1977 (1989)

ПИСЬМА

Перечитав все письма Ваши,

я вспомнил с лёгкою тоской,
что Вы, как счастья полной чаши,
искали близости со мной.

Что Вы сквозь внешнюю усталость
во мне любили не прибор,
а устоявшийся, как старость,
уравновешенный покой.

Покой срывал я без согласия –
и Вы ушли огню под стать,
оставив для разнообразья
тяжёлый привкус несогласья
моею суженою стать...

Теперь, когда уже навечно
былые страсти позади,
пытаюсь я чистосердечно
в них утешение найти.

Вот почему мне письма Ваши
сегодня дороги вдвойне,
А Вы? Достигнув счастья даже,
Вы вспоминали обо мне?
1984

* * *

Мне помнятся Ваши глаза,
их вздрог добродушно-умильный,
их проблеск; мне помнятся голоса,
несущиеся обильно
по вечнозелёной округе;
мне помнятся Ваши руки,
когда они в танце ласкали и пели,
казалось, всё это на самом деле
неизменимо вовек.
Теперь вот погиб человек.
Ваш муж. Как живые, колёса
не выдержали и сошли
за кромку твёрдой земли.
Простите. Я зря. Неотёса.
И слёзы достаточно Вас измотали.
Вы всё-таки не из стали.
Вас дети сквозь неуют
сегодня мучительно ждут,
как никогда не ждали.
А я, чтоб не быть бельмом на печали,
на счастье или беду
уйду. Навечно уйду.

1978

* * *

Сквозь млечность тумана
в рассветной волшбе
шепчу неустанно
признание тебе:
«Нам надо не много:
четыре стены,
цветы у порога,
спокойствие, сны».

Но ты мне, родная,
сквозь вечера тишь,
печаль не скрывая,
своё говоришь:
«Любовь, что зажата
в квартирных стенах,
слезою заката
рассыплется в прах».

1978

БЕЛЫЙ ГОРОД

Задумчивы жёлтые окна домов,
за тучами спрятались звёзды-кристаллы,
деревья недвижны, как будто из стали,
не слышен неведомый мартовский зов.

Есть всё-таки нечто, что не умирает,
но тайна – она так и так неизбежна.
И город бесшумный, как холст белоснежный,
излюбленных красок ещё ожидает.

Не ведаешь ты, что безмолвье прекрасно,
что белое поле – неожиданный цветок,
что ночью завьюженной вырасти смог,
что мы не спешим, чтоб сорвать... и напрасно.

В атласе под пепел спокойное небо.
Ладони не прячь и рассвет не пророчь.
И будет сладка на двоих эта ночь,
и будет малейшая горечь нелепа.

А снежные крыши всё ближе и ближе
мотивом знакомым, любимым давно,
и чайным топазом сияет окно,
и чувства всевластны, всеильны... и выше.

Но ты их не слышишь... глазами бездонными
нас мучает тайная ночь без предела.
И мы исчезаем на улице Белой
с заледеневшими страшно ладонями.

1976(1988)

* * *

Ваза. Стол. Засохшие цветы.
Груда книг. Тетрадь. И хлеба крошки.
Пыль и отпечаток от ладошки.
Или – так, пригрезилось. Мечты.

Это, безусловно, только ты.
И вопросы от тебя, конечно.
Что – любовь? Искусство? Или нежно
распустившийся цветок из темноты.

Не люблю застолья. Суеты.
О любви ли говорить, перечитавшись.
Мы и так разлучены, не разлучавшись.
Две пылинки – две черты.

Мне не спать. Воспоминания чисты.
Отпечатаюсь на них, окаменею.
Будут падать одичавшие листья,
повторяя: с нею с нею с нею.

Но не смею. Что? Не избежать беды.
Ты ведь знаешь, как она даётся
та надежда, что как песнь поётся;
что, сходя, стирает все следы.

Одинаковы до простоты.
Дни. Улыбки. Книга пала на пол.
Всё же что-то я в себе прошляпил.
Такт? Расчёт? Подтёки красоты?

Впрочем, это всё из пустоты.
Померещилось. Уже необратимо.
Для меня ты неисповедима,
как засохшие, но нежные цветы.

* * *

Твоё лицо с морщинками у глаз,
когда ты утром в зеркало неспешно
заглядываешь, с глаз твоих тотчас
срывает дымку мысли безутешной:
«Мне жаль себя, хоть полдень и не прожит,
а вечер женщине и вовсе лишний штрих».
И хочешь улыбнуться, и не может
улыбка вырваться из крепких губ твоих.

Но у меня сегодня снова вид,
что я твоих расстройств не замечаю,
ведь я-то чувствую по-прежнему, и знаю,
что мне лицо твоё с морщинками – магнит,

владеющий редчайшим притяженьем.
И ты выпрашиваешь что-то, уходя,
и отвечаю я тебе полушутя:
«Да кто ж без соли занимается соленьем».
1990

* * *

Ты никудашная жена,
но ты прекрасная любовница.
Ты страстью вновь поражена,
и вновь невинна и виновница.

Невинна в мужниной тоске,
ему постель – предел желания,
ему – извечному брюзге –
зачем твои переживания.

Противны стирка и еда,
капризной дочери кричание,
а после ссоры, как всегда,
игра в ехидное молчание...

Сегодня ты ко мне придёшь,
наполнишь комнату цветением
и все заботы, словно дрожь,
со мной забудешь с облегчением.

И спросишь вдруг полушутя,
поставив чашечку, чаёвница:
мой милый, после, жизнь спустя,
ведь ты не скажешь мне: виновница?..

* * *

Полуночный блеск холодных очей –
как памяти изморозь и благодать?
Мне женщины этой сладких речей
уже назначение не разгадать:

она говорила раскованно мне
о связях таинственных и о ночах,
когда перед ней ощутимо вполне
мельчали мужчины, когда в горячах

она разбивала о стенку бокал –
и это игрой не казалось уже;
и это, как лампочной нити накал,
сияло в моей осторожной душе;

срывало с лица раздраженья налёт –
как памяти изморозь и благодать? –

и молча спадало на мартовский лёд
презренье, которое мне не объять.

И мне эта женщина взглядом луны
глаза холодила, и в резких словах
мне виделась скованность женской вины,
а может быть, крыльев раскованных взмах.

ТАЙНЫЙ ЧАС

Трагичность бытия... Когда с себя срываю
единоличия искусственную маску,
рождаюсь снова я тогда и вновь решаю
предотвратить кровавую развязку.

Стекло разбитое – под стать словесной язве.
И что – травить колодец выгодней выходит?
Годам распятие – вот крест и гвозди. Разве
я не найду того, кто первый гвоздь вколотит?

Но прошлых лет ещё не утихает тленьё
и дым досады не даёт от зла очнуться.
И я, споткнувшись о смешной стандарт – старенье,
с погасшей завистью пытаюсь оглянуться.

Но что там, в прожитом, я вижу, сопричастник?
Трагикомедию, прожорливую гостью
или предсмертно простирающийся праздник,
что был ли, не был ли, но горло режет костью?

Так горек путь. И меркой целой жизни
оцениваю дни, минуты и мгновенья,
чтоб в тайный час измученной отчизне
всё сокровенное отдать без сожаленья.

1978

ПРОРОК

"С тех пор..."

Из дома вышвырнутый вновь,
я разодрал свою одежду,
как обнажённую надежду,
как прокажённую любовь.

Я распродал лохмотья веры
и корни вырванных стихов.
без колебанья и без меры
приняв бездомье, словно кров.

Все переполнились злословьем,
но не кричали мне вослед,
а насмехались с хладнокровьем:

"Одежды не было и нет".

Пустыню проклял я спокойно,
в душе пустыню восхвалив,
песок и холодно и знойно
засыпал глаз моих разлив.

Ночами слышать научился
я ближний бред и дальний храп,
когда однажды мне приснился
во мне беснующийся раб.

Когда он сытыми глазами
искал порок в глазах моих,
вполне "святыми семенами"
себя насытив и других.

И вот нечистыми устами
швыряю богу, как плевок:
"Я веру продал со стихами –
скажи, так разве я пророк?"

1990

КАРАСЬ

Уставшему мне каково обновление?
Дело к весне – избежать не дано.
Омута взболтано тошное дно.
 Что там случится,
 когда отстоится
вод взбаламученных муть и смятенье?

О карасе я обмолвлюсь общо:
насторожился – чует, хитёр:
воздух-свежак свои крылья простёр
 над жабрами рыбьими,
 над пальцами липкими
и над не стаявшим снегом ещё.

Жалость по омуту – чёрствые дни.
Медленно крохи дно устилают.
Если собаки на вора не лают,
 то, как ни странно,
 думай спонтанно:
вор этот, видно, из близкой родни.

Думай и помни, что хор тот – как визги.
Дни испарятся, а чёрствость – на блюде,
пир состоится под скрежет орудий
 красных и хмурных,
 белых и шкурных,
сидя у омута или у виски.

Ну и тогда приключится явление:
воды, утихнув, очистятся дико,
вор превратится в тартарское иго;
вздрагнет караська,
скажет: «Вылазь-ка...»
Уставшему мне каково обновление.
1989

ФИЛОСОФИЯ ПАУКА

Серый паук, что в углу примостился
после того, как я выключил свет,
с вечным вопросом ко мне обратился:
в жизни имеется смысл или нет?

"Всякая мысль не проходит бесследно, –
вяло сказал я и к этому вдруг
приплюсовал, – философствовать вредно
в миг засыпания и... недосуг".

Это суждение в серость зачислив
или услышав за стенкою стук, –
знак, что, как люди, он тоже завистлив, –
резко на нитке спустился паук.

Паузу выдержав, я осторожно
молвил с намёком: "Ты истинный зверь, –
мне бы хотелось, насколько возможно,
мнение паучье услышать теперь".

Он, согласившись, задвигался важно,
словно в часовне молитву творя,
и произнёс, что не любит бумажной
высохшей тли, ни на что не смотря.

И не желает словесною лепкой
в дебри чужого сознания лезть,
а убеждён, что резоннее цепко
сеть паутины без устали плесть.

В ней и скрывается жизни значенье,
словно волнение в вине или в во...
Мне опротивело это зуденье –
я, не дослушав, прихлопнул его.
1983

* * *

Родины милой – судьба не судьба.
В каждом окне колеблется свечка,
в каждой душе от пули насечка,
будто и было – друг в друга стрельба.

Все торопились – манила звезда.
Жёсткий сапог - указующий палец:
"Нужно, чтоб все подо мной пригибались.
Светом умылись – а к завтраку мзда".

Родина спать не ложилась – нельзя.
Думалось сладко, а виделось горько.
Теплилось чувство: идея – как зорька,
но неизбежно стала стезя.

Трубка в руке предвещает победу,
чем бы ни пахло горящее тело.
"Дело-то наше – правое дело.
Передохните – и голод к обеду".

Родине дольной шёпот во тьме:
вечер – не вечер: до утра далёко.
Страшно – погасло великое око.
Но были ль на воле иль были в тюрьме?

Чашу испили. Ночными часами
нить паутины закалена.
Не накормила нас целина –
ужин себе приготовим мы сами.

СТАНСЫ

Редко входил за церковные двери,
часто над ликом иконным вопил:
нет ни каких ни любви, ни потери.
Боже мой, что (на)творил.

Сладко мне думалось: тёплою будет
горькая наша постель; и шутил,
что никогда и никто не осудит.
Боже мой, что (на)творил.

Видел воочью: у глупого умный
вечно виновен; а вслух говорил:
будь на распутье лисою бесшумной.
Боже мой, что (на)творил.

Там – уравниются минусы-плюсы,
здесь – откровенничал: если убил,
то и свободен от всяких иллюзий.
Боже мой, что (на)творил.

Ровно лучина свой пепел роняет,
косо трепещет свеча средь могил –
кто убивает, кого убивают?..
Боже мой, что (на)творил.

СЕМИДЕСЯТЫЕ

Я много молчал, и вкралась в сознание бескрылость.
 Так больно, так горько теперь вспоминать, вспоминать.
 Я рос в доброте и достатке – скажите на милость,
 чего в этом случае может ещё не хватать?

Вопрос неуместен, но нужен ответ, как безвожде.
 Мне душ не хватало, в которых познание кипит,
 которые – влаги глоток в затянувшееся бездожде.
 И это – безумнейший дефицит.

Я знал до отчаянья – с дружбою что-то случилось:
 её обрамила покрытая золотом корысть.
 Так что же мне делать? Надменно порочность слезилась,
 страданье на лицах замазывая, как кисть.

В цене были цены – им кланялись, их проклинали.
 С возвышенным чувством раскладывался пасьянс.
 Забыл я вот только, что было в самом начале:
 иль слово, иль бог, или лжи бесконечный сеанс?

Какие меня и тебя и его разговоры томили?
 Я помню, я слышу: сквозь некий надуманный страх
 одно говорили, другое на сердце таили.
 И был молчалив я, и был я в слезах.

Да плакал ли я, переполненный откровеньем?
 Иль также как все, нисходил убедительно вниз?..
 Что было со мной и с моим поколеньем –
 не вызываю на бис.

1988

ТАЙНОПИСЬ

Где мы? Что наших душ изливы?
 Быть может, это попросту наивы
 украшенные лентами тоски?

В среде сгорающих светил – и полнясь твердью –
 не наши ли эмоции – со смертью,
 как и с любовью, конструируют торги?

Поймём ли мы евангельское дело
 природы, что на нас не пожалела
 живые краски и изысканную кисть?

Мы – вглубь и ввысь всё та же бесконечность...
 И пусть в душе моей подрагивает нечисть –
 я создан, чтобы тайнопись разгрызть.

* * *

Нет абсолютного в природе.
 Во всём жестокость перемен.
 Я был вчера, сегодня – вроде,
 а завтра я – всего лишь тлен.
 И ты не думай о бессмертье
 ни в дни побед, ни в годы смут,
 ни в миг, когда в душе усердьё.
 Бессмертье – это абсолют.

На свете каждый ждёт покоя.
 За вереницей дней и лет
 мне, избегающему боя,
 покоя не было и нет.
 Ты тоже будь всегда движенье,
 не веря ввек, как верит люд,
 что старость есть успокоенье.
 Покой на свете – абсолют.

Мы и познание нераздельны.
 Казалось мне, счастливый миг:
 сквозь жизни занавес скудельный
 я тайну истины постиг.
 Обман! И ты, мой друг, не числи,
 что скорость света есть сосуд,
 в котором нет брожения мысли.
 Предел познания – абсолют.

Я раньше верил в бесконечность.
 И, проклиная интерес,
 я наслаждался сквозь беспечность
 зеркальной звёздностью небес.
 И что? Тебе случалось тоже
 вдруг ощутить судьбы хомут
 с орбитой солнечною схожий.
 И бесконечность – абсолют.

Нет абсолютного в природе.
 Во всём жестокость перемен.
 И кто живёт вполне по моде,
 и тот, кого старенья крен
 стал обволакивать наветом,
 поймут, от кушанья – едва,
 что остаются в мире этом
 одни слова.

1979

ВЕЩЕЙ СОН ДЮРЕНА

Дюреру снятся потоки воды,

с неба несущие горечь на землю...
Он просыпается: «Страх не приемлю –
вновь замышляешь коварное ты,
господи праведный...» Вещий был сон:
хлынули реки крови народа
и захлебнулись мечта и свобода.
«Ваша свобода – цепей перезвон».

Дюрер не верит кровавому стягу
с изображённым на нём башмаком.
Страшен поток оборванцев, лицом
напоминающих боль и отвагу.
Страшен восставший. Но истины весть
Дюреру видится снова и снова.
Кисть, оживая, трепещет, как слово:
«Вот вам за кровопролитие месть».

... Клетки, снопы, черепки от горшков,
вилы навозные. И на вершине
он, что под стать кузнецу-мужичине,
он – ненавистник плетей и оков.
Что это – чёрная смерти личина?
Но и несчастный бывает велик.
В нём, в неотёсе – божественный лик
временем новым рождённого сына.

Чаяний крах и безбрежная кровь
всё же склониться его принудили...
Где же ты, тяга к воинственной силе
чтобы топтать их, гонителей, вновь?
Чтобы склонённая ниц голова
вновь поднялась для священного дела...
Топот сапог. Обнажённое тело,
вмятое в грязь, как трава.

1979

* * *

Я вырою себе могилу
и опущу себя, и вот
так закопаю, что насилу
от боли отойдёт живот.

И обескрыленную птицей
по неисхоженной тропе
домой вернувшись, как вдовица
я разрыдаюсь по себе.

Я перечту в пустой квартире
мною пережитые года,
но от которых в этом мире
теперь не видно и следа.

И оглянусь, и вскрикну: "Что же,
я был и не был – всё одно,
хоть ночь рубцом по белой коже,
хоть день под чёрное сукно!.."

Потом, когда болезни тени
исчезнут, напоив с лихвой
меня обманом сновидений,
я вспомню, что ещё живой.

1982

ЭКСКУРС

Семидесятые – проклятые.
Коварной добыча породы.
Теперь, как царство тридевятое,
я вспоминаю эти годы.

Духовные носил вериги,
оплёвывая святых, –
замалчивали великих,
раззванивали пустых.

Зажат истерзанной палатой –
больница или не больница –
идеей, вспоминаю, латаю
порезанные чьи-то лица.

От их кровотечений – реки.
Игла ушком в ладонь вошла.
Захлёбывались побеги,
покачивалась игла.

Но цель цементом или ватой
закладывала уши наши.
Не понимал: стою или падаю,
когда речей тянулись пряжи.

Но мне ли этой пряжи спешка.
Веди свой маленький стежок.
Я слово сказал – насмешка,
я был молчалив – смешок.

Казалось, лучше пни сохатые
таскать с полей на огороды.
Семидесятые – проклятые,
добыча мелочной породы.

1989

* * *

«Колея эта – только моя».
Вл. Высоцкий

И снова я выброшен из колеи

женою ли, другом ли, ветром...
Но это не важно, наверное, и
всё к лучшему в мире светлом.

Прошедшему в душу не мило смотреть.
Своя колея, да раскисла.
Там жизни моей не меньше как треть
скользнуло без пользы и смысла.

Скользнуло. Но я не жалею о том,
другое мне – хуже помехи:
что мы, как слепые, тянули в свой Дом
изъяны, пороки, огрехи.

Что многие, словно уже перезрев,
упали бесплодно на кочку;
возможно, и был благороден посев,
да час созревания – не в строчку.

Не вышла минута, но времени юз
нам будет последним сигналом...
Я всё ж колеи опрокину искус,
но лучше – по ней отвалом.

07.01.1987

ТЕЧЕНИЕ

Хрустальна жизнь: красива и хрупка.
И я в ней, как в сети плотвица.
Ещё хочу свободой насладиться,
и вдруг опять – добыча рыбака.

Надрывно-серебриста чешуя.
Я долго плыл ни шатко и ни валко
не по течению, вот только жалко
не замечая, что в ловушке я?

Упругостью превосходя уздечку,
листая сети клетчатый узор,
я обнаруживаю всё-таки зазор
и плавно падаю в невидимую речку.

Уже мне снилось лезвие ножа,
вскользящее запросто в подбрюшьё.
И вот, одолевая малодушьё,
подпрыгиваю, сдержанно дрожа.

Дыша свободно – страсть вольна –
я уплываю, вновь презрев теченье,
оно ещё не вызрело, значенье
весенних вод не осознав сполна.

1988

НИМБ

Сегодня я счастлив, вроде, –
меня возвели на престол,
и царской причастен породе,
мой лик осиянен и зол.

Велик нежелающий власти.
Но мне опротивела тень.
Я стал неподвластен страсти,
и обозрим, как плетень.

Мой жезл мне дороже жизни.
Державна вчерашняя речь.
Слова всеильны, как слизи,
что ими не пренебечь.

Духовная чужда старость –
меня окружает олимп.
Одно вызывает ярость:
пригожее блюдце – нимб.

Какой же он скрыт утробой,
в каких закоулках планет?
Не знаю – шепчу со злобой.
Так счастлив я или нет?!

1989

КОРЕНЬ

На крупное – память цепкая,
на мелкое – коротка.
У корня закваска крепкая,
как солнечность родника.

Я жаждал великолепия,
и к храму спешил..., но вот
о корень споткнулся нелепо я,
упал и ушиб живот.

Но это не наболевшее.
Разломом тоска пролегла
сквозь стены окаменевшие,
сквозь замершие колокола.

Досада и страх о разрушенном
прошли предо мною впотьмах.
Как девушка тужит о суженом,
так я скорблю о церквях.

Так холодно мне предвечерием,
и корень от боли орёт.
Как много гниёт с безверием,

с беспамятством больше гниёт.

1987

* * *

Поэзия как раз тогда нужна,
когда она становится ненужной.
Строка есть капля влаги в миг недужный,
уставшему – спасение она.

Трагичен жаждущий познания. На
лучине вдохновенья – нити пота.
В стихах есть крепь орлиного полета;
как на ладони – озера волна.

Вольна, как жизнь, метафора; страшна
возня над ней со скальпелем бесстрастным.
Дух творчества не кажется ли праздным?
А если кажется, какая в том вина?

Какая же в ней скрыта новизна?
Над рифмою – моление свечное.
Кому – ожог, кому, как шок, ночное
дрожание ожившего окна.

Поэзия огнем напоена,
который затоптать нельзя и выжать.
Есть три дороги, – чтобы выжить,
дорога выбирается одна.

Распутье испивающий до дна,
не гость на празднике поэзии венчальной.
В строфе трепещет блеск сакраментальный –
как молнией стезя озарена.

Когда же в душу сеять семена?
Провиденный порыв дождем зальется.
Но сердце от наития зайдетя,
когда ему нечаянность дана.

И будто с глаз спадает пелена,
казавшаяся некогда жемчужной.
Когда поэзия становится ненужной,
она тогда как раз-то и нужна.

1988

ДВА СОНЕТА

-I-

Вчера мне милая сказала,
чтоб я сонет ей посвятил.
И вот пишу, но чую – сил
мне для сонета будет мало.

Где взять волшебное кресало,
чтоб всё, что я ни говорил,
эмоций искрящийся пыл
в сознание милом высекало.

Ведь если я признаюсь ей,
в который раз, что нет мерила
чтоб оценить её очей
победоносные светила
и уст магический елей,
она мне скажет: «Это было...»
1979

-II-
Я понимаю: налитое
дороже – им и дорожи –
нам слово-яблоко, в тиши
которое милее вдвое.

Но мне сейчас дано иное:
в неясных таинствах души
поди, пойми, поди, реши,
какое слово золотое.

Какие – сколько ни горюй –
сегодня чувства с новой силой
владеть игриво будут милой?

И если среди бессловных струй
я подарю ей поцелуй,
она не скажет: «Это было».
1988

* * *

Каждый день цветок особый
распускается у тех,
у кого любовь не злоба,
а слияние утех.

Каждый день тогда – как лето.
И кругом, куда ни глянь,
вся цветением согрета
наша глухомань.
1979

* * *

Сердце под стать кукушке.
Как необузданный стук,
вырвалось на опушке
сердцебиенье вдруг.

И, на лету замирая,
в поле, в лесу, на лугу,
эхом ночным играя,
отозвалось: ку-ку.
1982

* * *

Поэзия – профессия.
И нечего мудрить.
И не при чём депрессия,
когда пора творить.

А если я поэзию
смакую, словно шпик,
она подобно лезвию
по горлу – чик-чирик.
1982

ОЖИДАНИЕ

Как слаб огонь вчерашней зелени,
как незаметен лунный лик,
как тусклы окна, как постелены
постели холодно, как дик
дом, переполненный народом,
как воздух душен, и часы
слезливы, словно ветер плачущий;
и вот – сознание на весы –
как всё мало и малозначаще
перед Её евангельским приходом.
1977

* * *

Над глазницами полей
мартовская дрёма,
в стеблях солнечных лучей
запах чернозёма.

У изогнутой реки
льдин измятых звенья,
от дороги напрямки –
леса омовенья.
1976

* * *

Не слёзы матери стекают на подушку ночи,
а кровь, что лечит наши обесцвеченные очи.

Не звёзды матовые устилают неба плечи,

а теплота и отголоски материнской речи.

Не разговоры тишины я слышу глуше, глуше,
а матерей сочувственные души.

1975